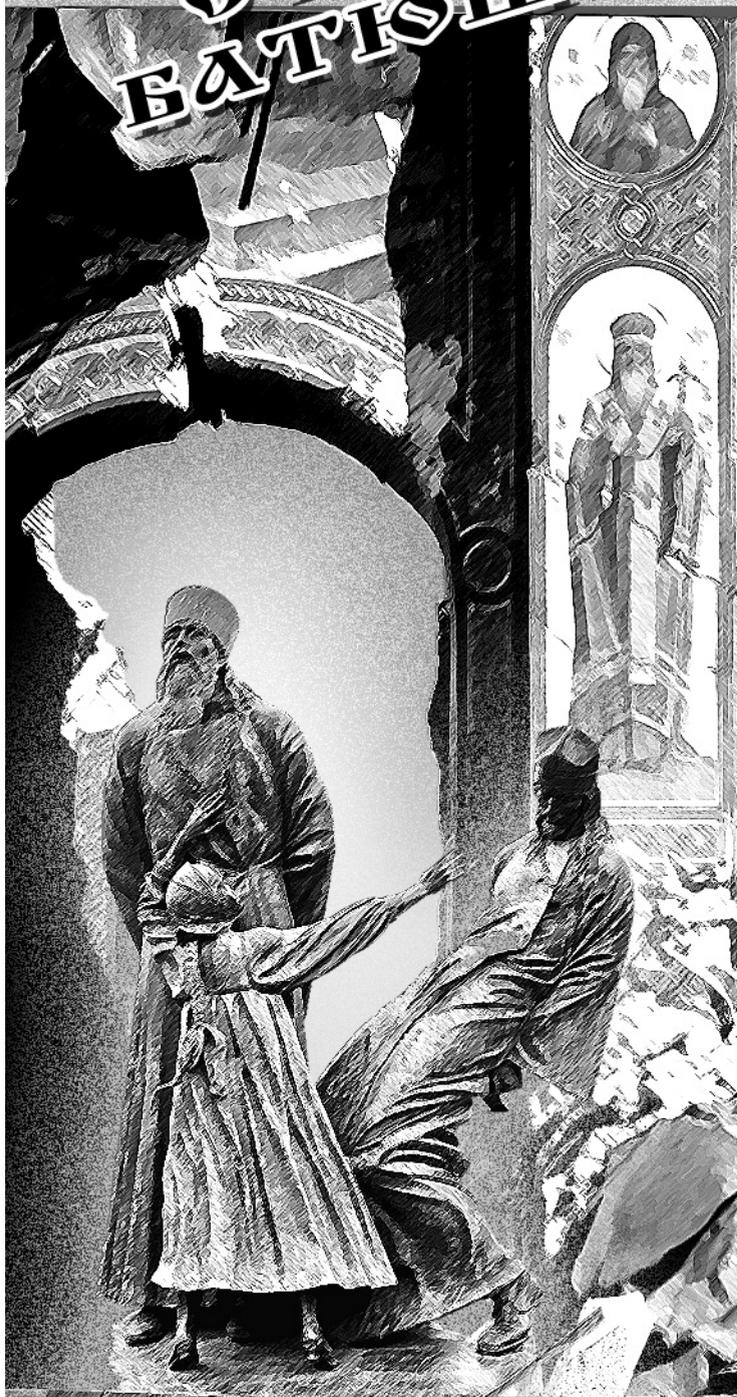


РАССКАЗЫ СТАРОГО БАТЮШКИ-2



о. Николай (ТОЛСТИКОВ)

г. Вологда

«КРАСНЫЙ» АРХИЕРЕЙ

рассказ

Над монашками ещё и глумились долго, потому как не старухи древние они и были.

Командир карательного отряда, тщедушный низкорослый мужичок средних лет, повернул желчное, заросшее щетиной лицо к стоявшему рядом пожилому бойцу:

— А вы, товарищ, не хотите присоединиться к молодцам?

И зло-весело сверля его карим глазом — другой был, ровно заслонкой, прикрыт бельмом, кивнул на заброшенный овин, откуда доносились девичьи стоны и причитания.

Дядька растерялся, опустил ствол винтовки. И тут же остановились, перестали выбрасывать лопатами землю из ямы вкопавшиеся уже по грудь два священника и немолодой, но крепкий мужик — церковный староста. Они смущали народ, когда отряд выгребал ценности из монастырских храмов и здешней приходской церкви. С ними, с «контрой», долго не чикались, тут же к высшей мере приговорили.

Лишь восьмидесятилетний старец-архиерей, по-прежнему стоявший на коленях возле края разверстого зева ямы, монотонно, нараспев читал молитвы; ветерок шевелил на его голове реденький белёсый пух.

— Что, работнички? Хватит с вас? Авось, все поместитесь! — бельмастый знаком приказал копалям выбираться из ямы.

Разумянившиеся потные бойцы вытолкнули из сарая трёх монахинь. Они, увязая босы-

ми ногами в холодной супеси и пытаюсь прикрыть наготу разодранной одеждой, взошли на земляной бугор. Монашенки помоложе жаллись к настоятельнице, статной сорокалетней женщине. Оглянувшись, она ожгла палачей взглядом черносморозинных глаз.

— Приготовиться! — скомандовал бельмастый, с усмешкой косясь на молоденького служивого с расцарапанной мордашкой; тот, вжимая в плечо приклад винтовки, старательно целился. — Пли!

«Какая баба красивая! — ненароком успев встретиться со взглядом игуменьи, вздохнул пожилой дядька. — Эх, губим!.. Каторжанец, твою мать!»

Он поморщился от звука скрипучего неприятного голоса бельмастого, выкрикивающего команды.

Другой залп смёл в яму священников и старосту, епископ остался стоять с воздетыми к небу руками, шепча слова отходной молитвы. Но вот и он повалился.

— Свадьба что надо: невесты, женихи и посаженный батюшка! Зарывайте!

Бельмастый отошёл к воротам овина, запалил остатки сена. Бойцы, торопливо закидывая землёй убиенных, хмуро косились на своего командира: он, неотрывно глядя на взметнувшиеся языки пламени, бормотал что-то, лишь ему ведомое...

— Серафима!..

Епископ-обновленец Александр Надеждинский, высокий, худошавый, после бессонных ночей с набрякшими синими подглазьями на осунувшемся лице, мерил шагами взад-вперёд полутёмную горницу; при тусклом свете керосиновой лампы длинная уродливая тень бестолково металась по стене.

Чумазый, со спутанной, в колтунах, гривой, парень, заикаясь и плача, закончил свой сбивчивый рассказ и, когда Александр сдавленно простонал, сжался в углу, вылупив полубезумные глаза. Рот парня перекосялся в страшной гримасе, на губах запузырилась пена, через минуту он забился в припадке на полу.

Прибравший на шум епархиальный секретарь остановился в растерянности, не ведая, чем помочь парнишке. Он первым приметил

этого оборванца, трущегося около архиерейского подворья. Парня прогоняли, а он упорно норовил попасться на глаза архиерею и, стоило епископу Александру выйти на крыльцо, бросился ему в ноги, лопоча невразумительно и обливаясь слезами. Его попытались оттащить прочь, но кто-то из обслуги признал в нём иподиакона убитого епископа Варсанофия.

Он видел всё... Родом из тех мест, исхитрился как-то прошмыгнуть напрямки лесом, пока приговорённых везли окружной дорогой на место расстрела, затаился в кустах; после того как последним упал владыка, заревел в полный голос. Не услышали: спасло то, что рьяно занялись, затрещали, стреляя головешками, крыша и стены овина, и в этой злобещей трескотне потонули рыдания парнишки.

Епископ Александр, хотя и не разобрал доброй половины слов, но представил себе произошедшее до сердечной обессиливающей боли зримо.

«Серафима!..»

Вроде бы с той поры и немного лет минуло, и... много...

У них уже сговорено было. Великая Смута только начинала надвигаться, расправлять над Россией кровавый свой морок, но всё ещё в жизни казалось прочно, незыблемо.

У Александра подходила к завершению учеба в духовной академии, надо было решать: принимать ли монашество либо приглядывать себе невесту, жениться и ждать святительского рукоположения в приходские батюшки. За будущей матушкой дело не стало. На рождественские каникулы из Лавры он летел к Серафиме — в мыслях, как на крыльях, но мучительно медленно тащился поезд. Проплывали за окном сонные, засыпанные снегом полустанки, оставались позади станции с важно вышагивающими по перрону городскими и ватагами гомонящих пирожников, и — опять за окном то глухой сумрачный перелесок, то холмы с черными пятнами деревенек на вершинах.

С Серафимой выросли вместе. Отец её был настоятелем храма в городской слободке, отец Александра — простым псаломщиком. Александр хорошо помнил, как, допустив оплошку в службе, трепетал отец перед суровым громогласным протоиереем и, выслушав внуше-

ния, заискивающе лебезил. Услужливо прогибая спину, он тыкался багрово-красной коковой¹ в холёную поповскую руку, ища благословения и забвения вины.

Поначалу маленький Саша тоже боялся гневных настоятельских глаз и прятался, позже ему становилось стыдно за отца. Тот, пережив очередную выволочку, всё чаще прикладывался к кружке с компанией нищевродов за углом и, наклюкавшись, беззвучно плакал, размазывая слёзы по лицу. Сыну быть вот таким не хотелось...

В семинарии Александр выбился в первые ученики, а когда оказался в академии и в редкие побывки дома встречал старого протоиерея, тот теплел взглядом: «Каков молодец! Не в тятку!»

Глаза у Серафимы — в отца-настоятеля, жгуче-чёрные, только не гневливые и высокомерные, а с обвораживающей лукавинкой и тайной на доньшке. Приехал как-то на каникулы Александр, увидел неожиданно расцветшую из нескладной девочки-подростка Серафиму и без памяти влюбился.

Выйдя на перрон после вагонного тепла, Александр мгновенно продрог от свирепо налетевшего ледяного ветра, охрип, пока кричал извозчика, и, наконец, постучав в дверь родного дома в слободке, еле слышно откликнулся просевшим голосом.

Матери подсказало сердце: сразу распахнула дверь. В домике было уютно, тепло, пахло ладаном, в красном углу трепетал огонёк лампы перед святыми ликами. Только не встречал отец: однажды после настоятельской взбучки вышел из храма, шагнул раз-другой и упал.

Александр, долго не церемонясь, забрался на русскую печь и на жарких кирпичках лежанки тут же провалился в сон.

Пробудился он от того, что мать, взобравшись на приступок у печи, трясла его за плечо: — Санушко, стучается к нам кто-то! Ночь ведь глухая!

Александр прислушался: то ли ветер хлопал незапертой впопыхах калиткой, то ли вправду топтался кто на обледенелых тесинах крыльца и дёргал за дверную скобу.

За дверью ответили не сразу, будто раздумывали:

— Пустите, люди добрые! Не дайте погибнуть!

Серую невзрачную одежду вошедшего, от брошенного на голову капюшона до бахил на ногах, облеплял снег; незнакомец прижимал к груди окоченевшие без рукавиц руки. Александр стащил с него «наволоку» — явно не по его низенькому росту. Мать, охая, принялась шерстяным шарфом растирать незнакомцу белые, как снег, кисти рук.

Нежданный гость, усаженный на табуретку, прижимаясь спиной к жаркому боку печи и постылая от боли, меж тем настроженно оглядывал горницу. Был он одних лет с Александром, по смуглому лицу с тонкими чертами, по длинным «музыкальным» пальцам угадывался скорее студент, хоть и назвался он купеческим работником, отбившимся от обоза и заплутавшим в такую непогодь.

Один глаз у него, точно заслонкой, был прикрыт бельмом, другой же, тёмно-карий, с печалинкой, изучающе неотрывно следил за хозяевами.

— Мне б только до утра отогреться, потом пойду догонять своих... Вашу доброту век не забуду!

Он, и верно, ушёл, едва рассвело и метель улеглась.

Александр, собираясь к Серафиме, скоро бы и забыл про ночного гостя, кабы днём к Надеждинским не заглянул урядник: не видали, мол, такого-то? И приметы точные назвал. С этапа арестант наемни убёг, обыскались, но как сквозь землю провалился.

Александр, представив занесённую снегом, скрюченную от мороза фигуру на крыльце, промолчал, недоуменно пожимая плечами.

— Прощевайте тогда! — пожилой урядник, прихожанин здешнего храма, расспросами больше томить не стал, вздохнул только, подходя к двери: — Опасный преступник, вам скажу! Бомбометатель! Если что, вы уж...

На пороге он столкнулся с городовым:

— Нигде нет, ваше бродь! — доложил тот. — Может, замёрз и пургой занесло?

— Туда ему и дорога! Жаль, что не взяли...

Александр встрепенулся, хотел выбежать на

¹ Кокова (диал.) — кончик носа.

крыльцо вслед за полицейскими, но, толкнув было дверь, остановился, чувствуя, как краска стыда начинает заливать лицо. Сначала промолчал, жалея замерзающего бедолагу, а теперь — нате вот! — опаматовался. «Поймают его сами. И на мне греха не будет», — утешил он себя.

Но потом, уже в Санкт-Петербурге, в академии, случившееся той морозной ночью всё равно не давало ему покоя, засело занозой: «Он же бомбист, наверняка на совести загубленные жизни!»

Великим Постом, облегчая душу, Александр исповедовался отцу Пармену. Выслушав десятка два академистов, тот безразлично-непроницаемо поглядывал на кающегося Александра, как механический болванчик размеренно кивал головой с реденькими волосенками, зачёрсанными в косицу. Когда же Надеждинский решился упомянуть о беглом арестанте, которого укрыл, в обычно сонных глазах отца Пармена сверкнул хищно и настороженно интерес — Александру даже не по себе стало.

И предчувствие не обмануло...

Спустя недолгое время Александр, держа в руке саквояж с пожитками, добирался до вокзала: предстояла нежданная дорога домой. Его вдруг окликнул Васька Красницкий по прозвищу Революционер, тоже на днях отчисленный из академии, — маленький суетливый человечек с бегающими неприятными глазками. Они торопливо, но сноровисто ощупывали Надеждинского:

— Горюешь, брат? Но дело ты стоящее сделал, проболтался вот только зря. Узналось как? Пармен?!

Александр, немного удивлённый Васькиной прозорливостью, растерянно кивнул.

— Одному ему на исповеди и сказал.

— Нашёл кому! — Красницкий налился краской, сердито запыхтел, засопел. — Он же у начальства — глаза и уши! За тем к нам и приставлен был!

Васька учился с Надеждинским на одном курсе, но Александр держался от него поодаль. Непоседе Красницкому учение давалось легко, отпрыск столичной «поповки» позволял себе на лекциях дерзить преподавателям и подначивать их. Терпели Ваську до поры до времени; а он в какие-то тайные кружки стал похажи-

вать, чем и прозвище себе заслужил, затесывался в демонстрации рабочих на питерских улицах и однажды неслабо получил по спине нагайками от казаков.

«Мне революционеры не нужны! Мы здесь Богу молимся, а не по баррикадам бегаем! И с господами бомбистами не знаем! — отзвук раздраженного густого баса ректора академии до сих пор гудел у Александра в ушах. — Ладно, тот олух Красницкий — хлыщ столичный, а ты куда лезешь, деревня неумытая?!»

— Даст Бог, свидимся ещё! — Красницкий, привстав на цыпочки, троекратно ткнулся Александру в щеки мокрыми холодными губами и пропал в людской толчее на тротуаре.

«Он, похоже, не сожалеет, что и исключили, — вздохнул Надеждинский. — Мне-то вот как ково возвращаться?..»

Дома, в слободке, было привычно тихо, редкий прохожий неторопливо, осторожно брёл по прихваченной утренним морозцем осклизлой тропинке. Размеренно, редко позвякивал на звоннице церкви одинокий колокол — шла Страстная седмица, наставлял Великий четверток.

В тесном полутёмном, с низеньким сводом, храме, с детства знакомом и дорогим фресковой ли со святым ликом на стене или старого письма иконами, Александр стоял на коленях перед Распятием и молился. Прихожан было много, стояли плотно, неловко в тесноте крестились. Надеждинский чувствовал на себе их взгляды — вырос он на глазах у многих, и взоры эти были то сочувственные, то недоуменные, но ни одного недоброжелательного и злого. Нехорошая весть доходит быстро. Ему стало ещё горше.

«Господи помилуй, помоги и не оставь!» — шептал он, глотая слезы.

Серафима ждала его у калитки в церковной ограде, с тревогою заглянула в глаза:

— Приехал, а к нам не заходишь. Меня избегаешь будто...

Она ласково дотронулась до его руки, но Александр подавленно молчал и даже до дому её не проводил, отговорился каким-то срочным делом.

— Ты к нам в Пасху-то придёшь? — уже вдогонку крикнула Серафима. — Я ждать буду!

Лучше б было не ходить в настоятельский

дом, да куда себя денешь и никуда от себя не убежишь...

Не успел Александр расцеловаться и похристосоваться с Серафимой, как старый протоиерей, её отец, взорвался возмущённо — только что в толчки со двора не погнал Александра:

— Мне смутьяна и каторжанцев дружка в зятя не надо! Что стоишь, впрямь орясина, глазки потупивши? Будто и из академии не вышибли?! Забирайся к своим каторжанцам и про мою дочь забудь!

— Тятенька, перестаньте! — попыталась утишить отца Серафима. Да только куда там!

— В горницу иди! Обрадела женишку-то, выскочила! — зыкнул на дочь вконец рассви-репешивший протоиерей. — Не будет вам моего родительского благословения! Во веки веков!

Александрю вспомнился покойный бедняга отец: то-то дрожал огоньком грошовой поминальной свечки, переживая настоятельский гнев! Да и самому бы теперь впору сквозь землю провалиться.

Серафима же поджала в тонкую ниточку губы, в чёрных глазах её строптиво заблестели гневные огоньки:

— Я тогда в монастырь уйду!

— Скатертью дорога!..

Иеромонах Александр, принявший постриг несколько лет назад, пережил Смуту в маленьком монастырьке под Питером.

Что ожидало впереди?..

Малочисленная братия истово молилась в храме; кто-то предложил по крепкому ещё льду Финского залива податься за границу.

«На всё воля Божья!» — сурово одёрнул ослушника старик игумен.

Внезапно появился... Красницкий. Александр поначалу и не узнал его: сановный, в тёплой широкополой рясе и алой бархатной скуфье, протопресвитер неспешно выбрался из кибитки и важно, вразвалочку, направился к храму.

— Да! Небогато у вас! — окинув беглым взглядом убранство внутри, вздохнул он и уставился на Александра. Даже в заплывших сонных глазках вслед за удивлением мелькнула неподдельная радость.

— Не ждал, не гадал, что ты тут! — когда остались с глазу на глаз, проговорил Красницкий. — Не сбились бы с дороги, век бы в эту дыру не заехал! Да ладно... Я теперь член Высшего церковного управления. Слышал о таком? Самого патриарха Тихона вот где держим! — Красницкий крепко сжал маленький, в рыжих конопушках, кулачок. — Что тебя здесь ждёт? Ну, разгонят вас, монасей, и то... в лучшем случае. А у нас, живоцерковных, епископом будешь. Поедешь в свою Вологду церковную жизнь направлять и обновлять. Тянет на родину, а?!

Когда глава «Живой Церкви» митрополит Введенский и с ним ещё двое архиереев-обновленцев в Москве соборно поставили Александра во епископы, он опять припомнил своего всегда униженного дьячка-отца и громогласного хамоватого протоиерея. Не будет такого на приходах при нём, новом архиерее!..

Попутчик удивил — влез в купе вагона весь в скрипучей чёрной коже, козырек кепки, как у бандита, на самые глаза. Сел молча у окна и, когда поезд тронулся, спросил картаво скрипучим голосом:

— Не узнаёте меня? Вы мне жизнь той давней зимой спасли!

Попутчик снял кепку, и солнечные блики, отражающиеся от стекла, осветили нашлёпку бельма на его глазу.

— Едем вот с отрядом разную контру шерстить, в том числе и церковную. Рад, что вы на нашей стороне...

По приезде в Вологду бельмастый комиссар со своим отрядом немедля ушёл по храмам «изымать ценности», а новоявленного епископа ждала весьма скромная встреча. Хотя местная власть подсуетилась и большинство храмов в городе заняли попы-обновленцы, немногая числом кучка раскольного священства, бывшая не в чести у прежних архиереев, подходила под благословение к епископу Александру.

А народ божий в храмы к обновленцам не пошёл! Так и служил потом новый владыка в аукающей гулким эхом пустоте. Отряд же бельмастого, разоряя церкви, всякое мало-мальское сопротивление жестоко карал, и

на слабые протесты «красного» архиерея там давно махнули рукой: будет лишка выделяться — и самого к ногтю прижмём!

— Что мы, ровно раскольники, творим-то, кому помогаем и способствуем?! Под чью дуду пляшем?! Господи, помоги и вразуми! — молился в своих владычных покоях Александр.

Весть о расправе над Серафимой и монахинями была последней каплей.

— Возомнили мы о себе, в великую прелесть впали! Надо ехать к Святейшему Патриарху Тихону и — в ноги ему, каяться!

С городского вокзала тронуться в путь Александр не решился: архиерей не иголка — всяк заметит.

— Домчим полегоньку, надо — и до Москвы! — епархиальный кучер, вроде бы человек надёжный, споро погонял пару лошадей, заложённых в тарантас.

Но отъехать от Вологды далеко не удалось. В сумерках на глухом просёлке нагнал беглеца конный отряд.

— Вы мне когда-то жизнь спасли, я тоже в долгу не останусь! Возвращайтесь и будьте с нами заодно, как прежде! А про ваше бегство будет забыто, — бельмастый выжидающе помолчал. — Нет?! Хотите умереть праведником? Не получится! Слух будет пущен, что вы, святой отец, прихватили церковное золотишко и того... втихую смотались за кордон!

В густеющих сумерках бельмо на глазу комиссара проступило явственней, зловеще.

«На кого же он так похож? — подумал Александр; страха не было.

— Иуда?... — одними губами успел прошептать.

Сухого щелчка выстрела он не услышал.

В разлившемся вдруг перед ним сиянии предстала радостно и светло улыбающаяся Серафима, юная, красивая, как в те далекие годы...

ИЛЬИНКА

рассказ

Она каждый вечер незадолго до заката солнца поднималась на крутой взлобок-толстик холма, нависший над обрывом, и, приставив согнутую лодочкой ладонь к глазам, смотрела неотрывно на змейку дороги, выползающую из леса. Перевалив речной брод, дорога петляла по лугу. Дотянув до подножия Ильинского холма, дорожные колеи отворачивали в сторону и скатывались опять в низину, тянулись теперь к другому холму, по пологим склонам которого карабкались рядами улочек невзрачные домишки Городка к белеющей на вершине громаде Богоявленского собора.

Путник, вышедший из леса, на этой дороге был виден издали. Путь в два десятка вёрст от железнодорожной станции проделывался теперь обычно пешком, без надежды на попутный транспорт: в военную пору и полудохлая клячонка, впряжённая в телегу, была в редкость.

Ещё незадолго до революции намеревались проложить через Городок «железку», но не на шутку обеспокоенный таким обстоятельством городской голова шустро скликал на совет местных купчишек: дескать, как бы по причине «прогрессу» не лишиться доходов! Компания прикинули-покумекали, и на теплом приёме комиссия из путейских инженеров в дарёных караваях хлеб-соли к своему изумлению обнаружила золотые червонцы. Взятки и тогда умели давать и брать. Инженеришки быстро сообразили что к чему: линию на карте по другому месту прочертили — и остался Городок прежним тихим захолустьем. Купчишки-то потом охватились, поняли, что дали маху — барыши у них всё равно сошли на нет, бросились было по присутственным местам исправлять промашку, да поздно — поезд ушёл.

Остались от тех незадачливых «отцов города» каменные особняки на центральной площади, отданные Советами под детдома, и прочие казённые заведения, и устроенные купеческим радением два храма. Один — собор в центре Городка, а другой — далеко за околицей, на высоком холме, видимая со всех сторон Ильинка.

Бывшего настоятеля этого храма отца Андрея Щедрина и ждала уже немало лет матушка Антонина, выходя каждый вечер на взлобок холма над обрывом. Возвращался бы домой батюшка из далёкого мордовского лагеря по той вьющейся внизу извилине полевой дороги...

Густели сумерки; матушка Антонина горестно вздыхала и, кутаясь в полушалок, уходила в домишко на краю погоста. Она шла вдоль по тропинке снаружи церковной ограды, а с внутренней стороны по мощённой каменной плиткой дорожке размеренно вышагивал часовой с винтовкой за плечом. Поправив на голове пилотку, солдат кивнул матушке, как старой знакомой, и приветливо улыбнулся. Солдатик «зелёный», видать, из недавно призванных; глядя на пожилую попадью, может, свою мать вспомнил...

Это в начале войны караульные сердито окрикивали и, клацая оружейными затворами, пугали пытавшихся приблизиться к ограде богомольцев. Белоснежный храм, сверкая крестами на куполах, издали манил, притягивал к себе.

Богоявленский собор в центре Городка постигла страшная участь: летний храм коммунаки-богоборцы развалили взрывом и разобрали на кирпич, а в зимнем, обляпанном снаружи и изнутри кумачовыми полотнищами лозунгов, обустроили «вертеп» — дом культуры.

Дошёл было безжалостный черёд поруганий и до Ильинки. Чёрный воронок глухой ночью увёз настоятеля отца Андрея, местный хулиган и задира Сашка Лохан с активистами-комсомольцами сбросил со звонницы колокола... и вдруг точно одёрнул кто властно лиходеев. Участковый милиционер не позволил сбивать и выворачивать замки на дверях храма, сам ходил и проверял их сохранность. И даже сторож оставался при деле.

Матушке Антонине участковый предложил

выселиться из поповского дома, стоящего внутри ограды, и матушка перебралась в крохотную хибарку к старушке просфорнице в храмовой деревеньке не ропща: всё не одна-одинёшенька.

Выглянув вечером из окна хибарки, Антонина заметила какие-то огоньки, медленно ползущие в сумерках по дороге из леса от станции. Вскоре, натужно поуркивая моторами, в гору друг за дружкой стали забираться «полупторки», груженные ящиками.

На одной из них приехали отделение солдат. Они споро принялись разгружать ящики с машин и таскать их в раскрытые настежь двери храма. «Полупторки» приезжали еще несколько вечеров кряду, и так же солдатики шустро управлялись с грузом.

В поповском доме обосновалась охрана. По верху кирпичной ограды распутали колючую проволоку, и теперь денно и нощно стояли на посту часовые. О том, что было в тех ящиках, думали-гадали немногие жители деревеньки при погосте, и только к концу войны узналось, что хранились в подвалах Ильинки энкавэдэшные архивы из Ленинграда. Не было счастья, да несчастье помогло! Как зеницу ока оберегали чекисты Божий храм.

Дома в деревеньке вскоре опустели: жильцы их — кто прислуживал в храме, а кто и побирался — разбрелись по городковской родне.

Попадья и старушка просфорница остались одни в домике-развалюхе. Обе дочери публично отказались от арестованного отца и уехали в дальние города. Так сделать их благословил сам отец Андрей: надеялся, что поповен после этого не тронут. «Благословил, стало быть, простил...» — вздыхала горестно Антонина.

Военной зимой навалилась голодуха. Антонине впору было ложиться да помирать — продавать или обменивать на хлеб было нечего: из поповского дома всё выгребли активисты, да и если что осталось, то из-под охраны не возьмёшь. Спасло то, что колхозная бригадирша, «партейная», но в детстве — прихожанка храма, устроила Антонину в соседнее село на скотный двор коров доить. И хорошо, что не нашлись дураки и не донесли «куда надо», что супружницу «враждебного элемента» пригрела.

* * *

Конечно же, в согбенном, устало шагающем одиноком путнике она узнала его издалека. Еще не веря, побежала навстречу по тропинке под гору, но на краю поникшего, с жухлой травой луга, когда под ногами в дорожной колее затрещал первый ледок, остановилась в нерешительности. Показалось, что ошиблась: чужой человек тяжело и устало брёл по дороге. Одет он был в истёртый грязный ватник, на голову натянута солдатская ушанка.

Черты пожелтевшего, сохшегося, в глубоких морщинах лица отгаликивали застывшей суровостью, но слезящиеся глаза знакомо радостно распахнулись:

— Тонюшка!..

Антонина, подхватив мужа под руку, помогла ему взойти на верх холма. Они стояли в обнимку, как в далёкой молодости, у ворот церковной ограды. Отец Андрей то переводил взгляд на супружницу, то опять долго и неотрывно смотрел на блистающие в лучах заката кресты на куполах храма.

Он приоткрыл калитку, по мощенной камешником дорожке добрёл до храмовой паперти и повалился ниц на её плиты.

— Вернулся я... Слава Тебе, Господи, за всё! — он гладил ладонями холодную поверхность плит, вытертую до блеска подошвами обуви богомольцев.

В домике просфорницы матушка Антонина, выудив ухватом из печи чугуна с горячей водой, вымыла в тазу ноги мужу. Прикасаясь к культишкам отмороженных пальцев на ступнях, вздыхала тяжко: «Как так можно-то?!» А он, прижав к её плечу остриженную, в шрамах голове, шептал:

— Я их... тех... простил...

* * *

Воскресным утром, прослышав о возвращении батюшки, народ повалил в храм. Кто, подходя к ограде, крестился истово на купола, а кто боязливо озирался по сторонам, прежде чем торопливо прошмыгнуть под арку ворот.

Когда, возвещая о начале Божественной литургии, прозвучал возглас отца Андрея «Бла-

гословенно царство Отца и Сына, и Святаго Духа!», храм был полон. Пришли люди не только из Городка, но из дальних сёл и деревенок сюда добрались — повсюду по округе угрюмо высились порушенные, поруганные храмы. Прихожане с жалостью взирали на стриженного священника с едва пробивающейся седой щетиной на впалых щеках. Неся перед собой в вытянутых руках старинную, в окладе, книгу Евангелия, по солее батюшка ступал тяжело и трудно. Но служба шла и шла своим чередом.

Богомольцы исполнялись тихой молитвенной радостью. Горели, потрескивая, свечи, освещающие святыне лики на иконах и фресках, на ектениях звонким речитативом откликнулись возгласам батюшки старушки-певчие с клироса.

— Господу помолимся!

— Господи, помилуй!

Ещё только-только затихла война; все ждали возвращения домой своих солдат: и живых где-то в далёкой Европе, и тех, кто пал на полях сражений...

* * *

После окончания службы из всего люда подольше всех не разбредались нищие: дождалась уж последних бабушек-богомолок, торопливо крестились и протягивали к проходящим мимо грязные ковшики ладоней, гнусявая: «Подайте Христа ради!»

Среди калек-побирушек толклись два чумазых, в изодранной одежке мальчугана. Один — белобрысый, с голубенькими наивными глазёнками на бледном личике — не просил, выпевал жалобно тоненьким голосочком:

— Дяденьки и тётеньки! Подайте сиротке!

Другой паренёк, чуть постарше, тёрся возле него и внимательно следил за передвижением участкового милиционера. Когда тот выходил из храма и тут же, стоя на ступеньке паперти, сворачивал самокрутку и прикуривал, пацан негромко свистел и следом за голубоглазым дружком стремительно нырял в нишу под угловой башенкой ограды. Милиционер, дымя, подходил к воротам, всякий раз с подозрением оглядывал нищую компанию, хмыкал и шёл обратно. Это взрослым убогим можно ещё притулиться к Богу, но детишкам — нет, пусть

они хоть беспризорники или детдомовцы, — всё равно властью заказано.

Милиционер скрывался в храме, и юные побирушки снова были тут как тут. Скоро остались они самыми последними: нищие, кто — еле волооча ноги, а кто — и вполне здоровой рысцой, по дороге направились в Городок. Пацаны, видимо, добрались сюда со станции.

Отец Андрей вышел запирать калитку в ограде и увидел, что мальчишек вытряхивает почти взрослый парень-верзила: зажал крепко под мышкой голову белобрысого и выворачивает у пацана карманы. Дружок, смуглый цыганёнок, как петушок на верзилу насакивает, да толку мало.

— Молодой человек, оставьте детей в покое! — прикрикнул священник.

Верзила злобно зыркнул из-под низко надвинутого козырька мятой кепки на отца Андрея, с презрительным видом пустив струйку слюны в щербину между зубами, пробурчал: «Погоди, дедок, встретимся ещё!» Отпустив пацана, он пошagal прочь. Карманы-то успел обчистить: ребятишки обескураженно хлюпали носами.

— Что, ребятки, пойдём к нам с матушкой в гости? — предложил отец Андрей.

Пацаны, взъерошенные, настороженные, потянулись за батюшкой следом.

— Встречай, мать! Не одни сегодня трапезничать будем! — священник легонько за плечи подтолкнул парнишек к столу.

— Но сначала помолимся!

Батюшка негромко прочел молитву; ребятишки, переглядываясь, перекрестились.

На картошку с грибами они накинулись, осмелев, — только за ушами затрещало. Между таким делом отцу Андрею удалось выведать, что юные гости беспризорничают на станции, что собирались махнуть на тёплые «юга», но застряли пока. Белобрысенького звать Васька, чернявого — Ромка.

После еды и участливых слов ребята размякли, тут же и прикорнули на широкой лавке возле стены, привалясь друг к другу. Во сне вздрагивали, дёргались. Стоило коту с печной лежанки на пол соскочить — тут же Ромка мутные со сна глаза открыл и заозирался. Потом улыбнулся и опять заснул.

— Пусть у нас поживут, чем скитаться-то? Вместо внуков, — глядя на ребят, спросил супружницу отец Андрей.

Она молча кивнула в ответ. И оба в ту минуту с горечью вспомнили об обитавших в дальних городах дочерях, отрёкшихся от родного отца.

Но не тут-то было! И дня не минуло, а уже забегал, засуетился, заугрожал Лохан. Величина — церковный староста! На войну Лохана по какой-то причине не мобилизовали, добровольцем идти он не возжелал — это не речуги в людных местах толкать. В какой-то конторке по заготовке съестных припасов просидел он тихой мышкой, но, когда война кончилась, осмелел, лихо залез государству в карман и попался. Вернувшиеся фронтовики к тыловой крысе снисхождения не имели, вытурили из партии. Но Лохана не посадили. Для иного дела теперь он понадобился, в храм старостой соответствующие товарищи из КГБ его определили.

— Ты у меня будешь вот где! — совал он сухонький кулачок под нос отцу Андрею. — За каждым шагом следить буду, каждую копейку учту — не затаишь!

Лохан бродил по храму во время службы, облачённый в вычищенный пиджачишко, лба никогда не крестил. По большим праздникам староста больше обретался возле свечного ящика, пристально наблюдая за работой продавцов.

Приезжий издали на богомолье народ запросто мог в сутолоке бесцеремонно попихать локтями заносчивого мужичка. Но свои местные взирали на него хоть и с насмешкой, но и с порядочной опаской: разорял собор в Городке, здесь, в Ильинке, со звонницы колокола сбрасывал. И теперь что ему в голову взбредёт, когда неожиданно-негаданно его старостой тут поставили?

— Да тебя опять посадят, дурья башка! — Лохан привык не особо церемониться в разговорах с батюшкой. — Вот доложу куда надо, что ты юное поколение в религиозный дурман заманиваешь! Не я, так другие! Благодарить ещё меня будешь!..

Не успел священник в ответ и рта открыть, как Лохан цепко сгрёб парнишек за руки и поволок в Городок в детприёмник:

— Не вам, попам, о молодёжи заботиться! Советская власть на то есть!

Вернулся Лохан смущённый и злой: не довёл ребят до детдома.

— Вырвались, сволочи, и убежали. Хмырь какой-то долговязый из-за угла под ноги мне бросился — вот я их и упустил.

Лохан в сердцах сплюнул, но закончил, как всегда, назидательно:

— А вот если бы эти пацаны спёрли чего-нибудь из церкви, а?! Кто бы отвечал, кроме тебя, батюшка? То-то!..

Подошло время отцу Андрею в очередной раз вести «ругу» — взнос от прихода в епархиальное управление. Свёрток затёртых рублишек и трёшников, редко — червонцев и в придачу пригоршню мелочи отец Андрей помещал в неприметный старенький саквояжик, с ним и пускался в дорогу. До станции он обычно добирался за попутье с кем-нибудь из односельчан, а там садился на проходящий поезд и — в Вологду.

И сейчас было все как обычно, только когда священник поднимался по ступенькам в тамбур вагона, столкнулся нос к носу с тем самым юнцом-верзилой, что выворачивал карманы у мальчишек. Юнец хмыкнул, неприязненно ухмыляясь, отвернулся. Впрочем, батюшка скоро забыл о нём, заняв свободное местечко и погружаясь в свои думки.

А тут же за стенкой, в тамбуре, верзила прижал Ромку-цыганёнка:

— Точно поп башли в своем чемодане возит?

Цыганёнок кивнул: видел, как складывал.

— А чего ж тогда не украл?.. Эх, вас, дураков, учить!.. — верзила презрительно циркнул слюной в щербинку между зубов. — Так... Тогда ты, Васька, прикинься, что брюхо у тебя скрутило. Понял? — потрянул он за плечо белобрысого. — А ты, Ромка, сюда попа вызывай! Что, ссыкуны, затихарились? В детдом обратно охота? Больше выручать не буду. Ну?!

Верзила для пущей убедительности сунул Ваське под дых; мальчонка скрутился на полу. Ромка, испуганный, побежал за отцом Андреем.

— Батюшка, там нашему Ваське худо!

Священник в тамбуре склонился над скрюченным стонущим мальчишкой, и тут верзила ударил его кастетом по затылку. Ручку саквоя-

жа отец Андрей, теряя сознание, всё равно не выпустил. Верзила вырвать её не смог и тогда ещё раз ударил священника в висок.

— Валим! — скомандовал пацанам.

Но далеко удрать грабители не успели: кто-то, наверное проводник, споткнулся о распростёртое тело священника — у юных лиходеев не хватило силёнок выбросить его из тамбура на насыпь. Голубчиков с поличным милиция сцапала на ближайшей же остановке: верзила набивал карманы деньгами из священнического саквояжа.

Отца Андрея схоронили без всякой огласки, тайком, — не возле родной Ильинки, а неподалеку от остова заброшенного храма на окраине областного центра.

— Чтобы новым святым, чего доброго, вашего батюшку не объявили! — ораторствовал по этому поводу перед ильинскими прихожанами Лохан и крутил неопределённо вознятым пальцем над своей башкой. — Там они знают, что делают, раз запретили!.. А попу было говорено, и не раз, насчёт пацанов: пригрел змеёнышей — жди беды! Но жаль, конечно, его, хоть и никчемный человечиска! — вздыхал притворно Лохан.

На закрытом заседании суда матушка Антонина, глядя на понурые, перепуганные лица мальчишек, попросила судью простить их:

— Батюшка бы сам их простил...



1

Лука опять пёрся, как с гранатой под танк. Какая уж местная язва придумала такое сравнение, но была она всё-таки права не в бровь, а в глаз: надень на Луку вместо закопченной грязной робы драную солдатскую форму и наезжай на него кинокамерой на здоровье — никаких актёров не надо!

Улочка сбегала круто под горку, и кривые, колесом, ноги мужика не справлялись со стремительным спуском, всё норовили за что-нибудь зацепиться. Лука, пролетев ныром, пропал во взметнувшемся облаке пыли. Скрежеща зубами, он долго раскачивался на четвереньках, пытаясь подняться, наконец ему удалось сесть на задницу. Очумело ворочая белками глаз, резко выделявшимися на чёрном, в несмываемой угольной гари лице, он угрожливо мычал. Встав на ноги, мотая безвольно из стороны в сторону осыпанной щедрой сединой башкой, правую руку Лука держал за спиной вытянутой, зажав мёртвой хваткой в ней горлышко посуды, чудом сберегаемой при падениях.

Таким макаром Лука добирался до крайних, стоявших друг напротив друга на речном берегу домов и, прежде чем вильнуть к своему и ввалиться бесчувственным кулом в калитку, поворачивался к соседнему. В полубезумных остекленелых глазах мужика вдруг проскальзывало вполне осмысленное выражение — злое и ехидное; Лука, вытанцовывая на кривых ногах, поворачивался и выставлял на обозрение соседу тощее гузно и, довольно го-гоча, хлопал по нему ладонью.

— Послал же чёрт и родню, и соседей! —

Иван Никанорыч Худяков солено ругался и захлопывал окошко. Мог бы сделать это раньше и цыгарку, не досмолив, бросить, но ретироваться — и перед кем!.. Ещё подумает, что струсил...

Лука появился на Старой улице не так давно. Тогда жива была полоумная бабка Зоя, как оказалось, его родная мать. До пятидесяти лет держала его за дорогую кровиночку, усыновив, Зоя была бездетная сестра. Приёмный же папаша после её смерти присутствие Луки не вытерпел и дня, выгнал с треском, вдобавок чужую старуху привёл. Лука тут и вспомнил про мамочку...

Говорили, что он был когда-то красивым парнем, от девок не было отбою, но служить попал на подводную лодку, и, когда возвратился в форсистой морской форме, высокий, статный, выявилась одна закавыка. Девки, а пуще — молодые разведёнки ринулись к нему гурьбой; бабёнки побойчее норовили затащить морячка в постель, и... ждало их разочарование. Потом уж, много погода, иная из самых страстных с нескрываемой застарелой обидой ругала его при встрече мудрёным иностранным словом, и, поскольку не каждая это словцо могла правильно произнести, чаще вслед Луке летела такая похабщина, что он, бедный, горбился, старался вжать голову в плечи и пускался прочь да дальше чуть ли не бегом.

Лука крепко пил, валялся под заборами, по-стариковски съёжился, глубокие морщины грубо прорезали его лицо, в одной грязной робе ходил он в будни и в праздники, таким и прибился под крылышко к родной маме.

Дом себе дед Ивана Никанорыча ставил хоть и возле самой реки, но на сухом взгорке, а вот свояк его, перевезя из деревни большущий пятистенок, взгромоздил его напротив худяковского прямёхонько на ключи: из кожи вон — лишь бы родственничка перещеголять.

Прокатилось времечко; дом, теперь Ивана Никанорыча, в заботливых руках стоял себе по-прежнему, хозяин его вагонкой обшил и покрасил в нежный лазуревый цвет, а свояков пятистенок, подтачиваемый родниковой водичкой, исподволь завалился на передние углы, будто набычился на ухоженного соседа; просел в нём пол, отчаянно дымили расщелившиеся печи, в пазах стен то и дело выпол-

зал куржак плесени. И в огороде, сколько бы ни сыпали на гряды песку, ключи неугомонно пробивались на поверхность.

Запыхтишь тут завистливо и злобно на месте Луки, если ещё и руки не из того места выросли. К тому же на отвалившемся от дома крыльчке встретит сидящая на ступеньке и беззаботно напевающая похабные частушки полумная мама Зоя.

Кабы только это!

...Тётка Зоя в молодости была криклива и сварлива, а в зрелых годах — ещё пуще.

В соседские окна она могла кричать иступлённо, неистово, до саднящей горло хрипоты, даром что и затворены они плотно, и супруги Худяковы сидят смиренно, зажав уши: высьнётся, начни лаяться — хуже будет.

Вон Зойка, ведьма ведьмой, космами растрёпанными трясёт, кричит на всю улицу:

— У меня мужик на фронте честно голову сложил! А ты, фашист грёбаный, в плену всю войну отсиживался, задницу немцу лизал!

Иван Никанорыч, чтобы не слышать этих ранящих слов, ещё крепче, чуть ли не до звона, давил ладонями на ушные раковины: знает, стерва, где больное, не зажившее с годами место, — норовит ударить на раз, под дых.

И досадил-то ничего: Зойкин сын, оболтус Сашка, залез в огород, и словил его Иван Никанорыч, напихал ему, матерящемуся на чём свет стоит, крапивы в штаны. Потом было пожалел парня: время послевоенное, голодное, — а тут началось...

Сашка, почёсывая место пониже спины, вышел на подмогу мамаше, принялся бухать камнями по воротам обидчика.

Потом и пошло-поехало: чуть мама Зоя в ругань — так и сыночек примчится камнями ворота обстреливать. И тоже кричит вместе с мамашей: «Фашист!»

Худяков от еле сдерживаемой ярости скрипит зубами да сидит неподвижно, глядя в испуганно молящие глаза супружницы. Может, и выскочил бы надрать мерзавцу уши, кабы не ходил отмечаться каждую неделю в отделение милиции как бывший военнопленный. Сдержался даже, когда Сашка, заманив к себе вер-

ного дворнягу Шарика, задушил его и с удавкой на шее выбросил посередине дороги перед худяковским домом.

Отслужив в армии, недоросток Сашка покрепел, раздался в плечах, но росточком почти не прибавил. Камнями хоть, слава богу, перестал соседу в ворота пулять, а встретив на улице, воротил заносчиво в сторону рыло.

Было с чего. Работать Сашка устроился в милицию: Худяков благодарил судьбу, что после смерти Сталина туда хоть отмечаться теперь ходить не надо. Иначе и представить трудно, какие бы от Сашки козни претерпеть пришлось! Сосед лихо подкатывал к дому на потрёпанном, с залатанным «шалашом» брезента газике, долго, надувшись, похаживал около машины, бахвалясь новенькой милицейской формой. Когда мать опять лаялась с Худяковыми, показывался на крыльчке, важно и выразительно прокашливался, и мама Зоя без промедления умолкала.

Вызналось, конечно, потом, что Сашка состоял в милиции не ахти каким важным чином — всего лишь водителем, да и «козлик» его часто ломался, так что приходилось Сашке, сбросив китель и забыв про фасон, задиравать крышку капота и копаться в движке.

Через это-то всё и стряслось...

Дочку, родившуюся слабой и болезненной, супруги Худяковы берегли и лелеяли, только что пушинки не сдували. Да разве углядишь за пятилетним ребёнком! Как она оказалась со своими игрушками в куче песка на дороге?.. И тут же Сашка возился с газиком, потом, видимо, на радостях, что починил, заскочил в кабину и почему-то дал задний ход.

Навсегда, до смертного часа, запечатлелось в памяти Ивана Никанорыча: и белокурые локоны, рассыпанные по личику дочки, быстро вязнущие в застывающей крови, и перемазанное песком и грязью синенькое платье на изуродованном тельце, и вскинутая тонкая ручонка с расставленной, будто для защиты, ладошкой. Хотелось верить, что в страшном сне нёс он домой дочку с запрокинутой, как у подбитой птички, головкой, под высокими кладбищенскими елями видел свеженасыпанный маленький холмик. Помнил: в плену, когда несколько бедолаг, вместе с ним за попытку к бегству за-

пертые в карцере, ждали расстрела, он, юнец в ту пору, вдруг ощутил глгучее желание погладить ладонью мягкие волосёнки то ли дочки, то ли сына — не родившегося ещё от него дитя и, когда сказал кому-то об этом, тот человек не удивился, лишь покачал согласно головою, сам страдая от последнего предсмертного и невыполнимого желания.

После войны жена Клава таилась до поры, боялась сказать молодому мужу, что надорвалась на лесозаготовках, но, слава богу, всё обошлось...

Очнулся от тяжкого кошмарного сна Иван Никанорыч в зале суда — Сашку оправдали: дескать, не чаял, как задавил, сам ребёнок виноват. Худяков, взглянув на довольно ухмыляющееся лицо соседа, сдавленно простонал и выбежал из зала.

«Нет, не будет он, гад, небо коптить да лыбиться!» Как рассчитаться с Сашкой, Ивану Никанорычу взбрело на ум сразу же.

Тот как ни в чём не бывало по-прежнему подруливал на газике домой обедать и опять, задрав крышку капота машины и выставив нетоший зад, ковырялся в моторе.

Иван Никанорыч, поглядывая из окна на соседа, поглаживал приклад охотничьего ружья. Раньше, случалось, баловался в лесу по мелочи: тетёрок пострелять, рябчиков. Ружьё было ещё барское, с гравировками, реквизированное покойным отцом-активистом из какого-то окрестного имения и без надобности провалявшееся на чердаке многие годы.

Худяков нашел пару патронов: один, помеченный, с пулей-жаканом, заслал в правый ствол, левый зарядил патроном с картечью. Сухо-деловито клацнул затвор. Иван Никанорыч, чувствуя прихлынувшую к вискам кровь, напрягся, как перед прыжком; мушка промеж ружейных стволов, положенных на подоконник, плясала перед глазами. Вон он, широкий зад, вываленный из-под капота! Горячий жакан просадит Сашкино жирное тело насквозь и вышибет, расплещет по грязным машинным закоулкам его мозги!.. Иван Никанорыч по-детски крепко зажмурил глаза, но дрожащим непослушным пальцем спустил левый курок, вывёртывая вбок, в сторону ружьё и оглохнув совершенно от звука выстрела.

Он даже не слышал, как пронзительно, по-пороссячи, заверещал Сашка — видно, пара-тройка картечин все-таки влетела ему в задницу, — задрав дымящиеся стволы, повернулся, и, елозя спиной по простенку, сполз на пол, невидяще уставясь на появившуюся на пороге горницы жену.

Она стояла какое-то время непонимающе, потом с рёвом повалилась к ногам мужа.

2

Худяков отправился «топтать зону», а Сашка, залечив ранения, женился вскоре. На преподавательнице.

Стройная, с гладко зачёсанными назад чёрными волосами, школяров она строжила почём зря, и на уроках у неё самые хулиганистые безмолвствовали, муха пролетит — слышно. Встречая родителей своих учеников, Раиса Яковлевна здоровалась свысока, задирая остренький носик и хмурия тоненькие над светлыми холодноватыми глазами выщипанные бровки.

Уж как такую цацу улестил кривоногий опилыш или опенок, соседи крепко недоумевали.

Сашку из «органов» вытурили за пьянство; где потом он только ни работал: и городской бани начальником, и техником-озеленителем, и завхозом, и ещё леший знает кем. Девки и молодые бабёнки, ведая про его шебутной характер и совершённое смертоубийство — о задушенной худяковской девчужке в городке помнилось долго — старательно обегали, открещивались, как от нечистой силы. Ему бы век вековать в холостяках, кабы в соседнем доме не сняла комнату приезжая учительница.

Сашка, приодевшись во всё лучшее, с самым деловым видом, выразительно покашливая, забегал вдоль изгороди, то собираясь таскать дрова, то позвякивая пустыми вёдрами. Учительница же, сидя у окна за проверкой тетрадей, носик свой востренький в Сашкину сторону не воротила, как и не существовало докучливого соседа вовсе. Тогда Сашка приволок домой из клуба, где последнее время труждался оформителем, малюя на афишах названия фильмов, подрамники с холстами, расставил их в огороде и принялся, так сказать, за дело. Дескать, я вам, дорогая учитель-

ша, тоже не хухры-мухры, а гражданин с художественным вкусом.

Раиса Яковлевна удостоила наконец Сашкины упражнения беглым взглядом из-под стеклышек очков, нахмурилась и вдруг окликнула его:

— Мужчина, извините, но вы в слове допустили грубейшую ошибку!

Сашка, отвернувшись от афиши, где с нарочитой сосредоточенностью выводил длинное название какого-то фильма, малость смешался от долгожданного внимания к себе:

— Где?

— Да вот там, там!

Так, слово за слово, разговорились, и вскоре он, подкараулив, провожал учительницу от школы домой. Правда, не под ручку или же вовсе облапив за плечи, а подпрыгивая бестолково рядышком с ней, шагающей с независимым видом.

Но на то слыл Сашка шалопутом! Заманив Раису Яковлевну в компанию, он сумел «накачать» её, непривычную к местным дозам питья, до беспамятства и, утащив на веранду, совершил там своё дело. Вроде и слышал кто-то возмущённые крики, но сунуться на веранду побоялся: ну, ещё связываться!..

Жить они стали, как все в городке. Сашка прохаживался со своей женщиной, теперь не притрунивая следом, а подставив ей согнутую крендельком руку, старательно выпячивая пузцо, и не с мятой, как прежде, с перепую рожей, а прилизанный, чисто выбритый, слегка взбрызнутый одеколончиком.

Через положенное время родилось дитё — мальчик, и довольная баба Зоя, катая внука в коляске, даже перестала затевать свары с соседями.

Обзаведясь семьей, Сашка посолиднел, пора — плешь по затылку расползлась, но страсти-страстишки остались прежними: злопыхать на земляков, вредничать им и, чтоб такое лучше удавалось, подзаправляться регулярно водочкой. Через неё, горячую, чуть не пропал...

Жена, взяв с собой сына, уехала попроведать больную тетку. Сашка, почуяв волюшку, ушёл в загул. Он и раньше-то несвободой особо не тяготился, а тут не один день кряду... Пробу-

дившись среди ночи с пересохшим горлом и трещащей головой, Сашка кое-как добрёл до стола, но в чайнике было пусто, ни капли и в вёдрах на полавошнике, глоток же воды вперемешку со ржавчиной со дна перевернутого рукомойника жажду не утолил. Сцапав ведра, Сашка поплёлся на колодец.

Баба Зоя проснулась от холода: в неприкрытую дверь выдуло всю избу. Долго непонимающе шарила взглядом по горнице: свет включен, а сынка не видно. Встала, заглянула на кухню, сразу заметила пропажу вёдер — утвари-то не лишка и, кутаясь в платок, вышла тёмным сенником на крыльцо.

Ветер хлопал незапертой калиткой, крутил вихри позёмки, злобно бросил пригоршню колючих снежинок бабе Зое в лицо. Она ещё стояла на крыльце, покричала Сашку, продрогла, но всё же сердце подсказало, куда идти. Переметённую пургой тропинку к колодцу баба Зоя нашла без труда, хоть и ветер норовил свалить с ног, побрела, опираясь на батог, и вскоре увидела бугор посреди тропы — оказался он заметённым снегом Сашкой. Уж какая сила помогла старой матери затащить бесчувственного сына в дом: с виду не богатырь, но веса в нём — что в кабане порядочном. Баба Зоя, переводя дух, оставила его лежать на полу под порогом, завалить на кровать не было моченьки. Поотирала ещё снегом белое лицо, заочеченные руки и, когда Сашка замычал, устало привалилась к тёплой русской печи...

Утром Сашку отправили в больницу, и вернулся он оттуда без обеих кистей рук, ладно что ноги тогда обуты в валенки были — уцелели. Ему изготовили протезы, но он невзлюбил сразу эти искусственные руки, ходил, пряча в карманы культы, расщепленные до локтя, как у рака клешни. Сделался он слезливым, в компании в какой-нибудь кочегарке налезал широко распяленным ртом на стакан, лихо опрокидывал, переброшив потом порожний через плечо, чтоб мужики ловили, закусывал, черпая из миски ложкой, привязанной резиновой лентой к культю, и распускал нюни. Раньше мужики, зная его зловредный характер и халявные замашки, могли и по шее накласть, теперь же терпеливо сносили всё от пьяневшего мгно-

венно Сашки: и то, как он бился головой и культами о стол, размазывая остатки немудрёной закуски, и то, как поливал всех и вся матерными словами.

«Сам, сам!.. Никто тебе не помогал!» — вслух не говорили, думали. И домой его доволакивали: хоть пуля в одно место дважды не бьёт, да кто знает...

Попрочухавшись, Сашка переключался на мать:

— Зачем и спасла, дура старая?!

Жена как-то подействовала на него, не растерялась: надоумила учиться в местной профшколе на бухгалтера, может, и свела сама. Сашка, вгрызаясь в гранит науки, стал попивать реже, ходил на занятия с полевой «командирской» сумкой на тоненьком ремешке через плечо. Правился и, как прежде, поднимая кверху, будто приносиваясь, картофелину носа, пытался напустить на себя деловой вид; встречные же не подсмеивались, а жалостливо лишь отводили в сторону глаза.

В свою «учебку» и обратно домой Сашка бродил через реку по шаткому узкому мостику. Летом речка пересыхала, превращалась в затаенный ряской и тиной ручей, но в половодье разлилась плесом до крайних домов на берегу, несла на стремнине льдины, коряги, доски, всякий мусор. Вода почти доставала хрупкую, ненадежную ленточку настила мостика, часто какая-нибудь кокора или льдина шаркала по её низу, норовя разломать, унести за собою.

Всякий такой удар приводил в восторг стайку мальчишек-первоклашек, повисших на еле держащихся перилах. Сашка ещё издали приметил красную лыжную шапчонку сына, шуря глаза, ругнулся: куда бабы смотрят! Ребятишки всё-таки увидели его раньше, потому как резко обернулись в его сторону, и... что тут произошло — с визгом метнулись на берег и там бросились врассыпную. И тотчас до Сашкиного слуха донесся не то захлебывающийся крик, не то плач очень знакомый. Сашка ускорил шаги, побежал, успев ухватить взглядом мелькнувшую из воды подле моста красную шапчонку. Он с протяжным воем бестолково забежал по настилу; шапчонка сына ярким пятном ещё раз вынырнула из серой свинцо-

вой воды. Парнишка даже вскинул руку, будто надеясь за что-нибудь ухватиться. Сашка, сбив брюхом хлипкие перила, бухнулся в воду, на мгновение оцепенев от жуткого холода, отчаянно забарахтался, вытолкнутый на поверхность, отплевываясь, жадно захватал ртом воздух. Сына больше не было видно. Вмиг намочившая одежда потянула ко дну, Сашка забил что есть мочи по воде своими культами, теряя силы и с ужасом понимая, что сыну-то помочь он ничем не сможет.

Его успели вытащить живым прибежавшие на шум мужики: в речке в этом месте было не так глубоко.

Весть о происшествии тотчас разнеслась по Городку.

Иван Никанорыч, стоя у окна, смотрел на Сашкин дом, зябко подрагивая плечами. Когда он обернулся к окликнувшей его жене, на глазах его блеснули слёзы.

3

Сашку и после гибели сына продолжало добивать.

Внезапно загуляла жёнушка Раиса Яковлевна. Всегда такая серьёзная, недоступная, вся из себя, сняв чёрный траурный платок, стала она иногда приходить на уроки раздумывавшаяся, с блестящими глазами, потом и в компашку гуляющих родительниц-разведёнок затесалась. Сашка ворчал, ругался, плакал — она его не слушала, поглядывала лишь из-под стекол очков насмешливо-презрительно. И он тихий сделался, плечи опустились, голова посивела — старик стариком.

Собрался он за советом к Раисиной тётке, единственной её родне. Хотелось дорогой развеяться, поплакаться хоть кому-нибудь: мама Зоя мужских слёз не терпела и не воспринимала. Но и тётка Раисы, восемьдесят с лишком, Сашку разочаровала и озадачила: «Будь мужиком!» — и весь сказ.

«Пить, что ли, с ней вместе? — раздумывал всю обратную дорогу Сашка. — Дак ведь не будет, на стороне ей интересней».

Дома ожидало убийственное и презрительное сообщение мамы Зои:

— Твоя-то цаца у «чёрных» навряде подстилки.

Раиса уж не один раз не ночевала дома. Её новые подружки-разведёнки нацелились на бригаду горбоносых шабашников, в своих кепках-«аэродромах» приехавших строить коровник. Темпераментных «нацменов» бабёнки разобрали по квартирам; Раиса Яковлевна пригласившегося кавалера привести к бабе Зое на постой не посмела и, видимо, у кого-то из знакомок сняла уголок для ночей утехи и страсти.

Сашка заметил их ещё издали... Затаился за изгородью и разглядывал: она, без очков и оттого кажущаяся много моложе и красивее, легко шагала, облапленная за талию усатым смуглокожим красавцем, с радостным возбуждением смотрела на него и, похоже, ничего больше вокруг не замечала.

Сашка, распалаясь яростью, тихо взвыл, но броситься на широкоплечего, мускулистого супостата не решился — плевком зашибет. Эх, юные б годы, силёнок если маловато, так сгрёб бы уразину! А теперь... Он тоскливо воззрился на свои культы: и штаны не расстегнуть без посторонней помощи.

Раиса с ухажером свернули к домику одной из родительниц: там, наверное, было пристанище, а Сашка, скыряя гнилушками зубов, удручённо поплёлся домой.

Раиса совесть поимела: прослышав о возвращении муженька, пришла на другой вечер ночевать домой. Баба Зоя, оставляя супругов наедине, едва разминулась с невесткой в дверях, отправилась в гости к сестре.

Раиса разделась, в лёгкой ночнушке забралась на кровати под одеяло и отвернулась к стене.

«И тут чистенькой хочется быть сволочи... И тогда б не прозеворонила, так парень-то не потонул бы!»

Сашка шустро, но бесшумно, по-тараканьи, подбежал к ней и, как боксерскую тушу, принялся молотить культами. Раиса кричала страшно, умоляла, но это его ещё больше осатанило; содрав с жены сорочку, он и по безжизненному телу бил долго, до изнеможения, пока отшибленные культы не заныли.

Ударив локтем по выключателю на стене, Сашка при свете взглянул на измолоченное тело с начинающими уже стыннуть вытарашенными глазами и закусенным языком, жалобно заску-

лил, руки и ноги сделались ватными от страха. Весь безумный дьявольский запал сгорел, Сашка трусливым нашкодившим щенком заметался по комнате. Нашёл верёвку, хотел сделать петлю, зубами начал вязать узел: искусственные руки куда-то запропастились. Ничего не получалось, да и Сашка особо не старался; бросив за тею, он захныкал, стараясь не глядеть в сторону кровати. Было жалко себя...

4

Спасскому монастырю под Городком досталось. В давние времена, в польско-литовское нашествие, его не смогли взять приступом разъяренные воровские рати; не в столь же отдаленные — коммунаские — без всякого штурма одолел его один местный яркий активист, свой русский, Никаха. В годах мужик, не безусый глупый парень, но бегал на полусогнутых с оравой городковских голодранцев за хмурыми сосредоточенными «чернышами», облаченными в кожаные тужурки, услужливо подсоблял им вытаскивать из монастырских храмов ценности; потом, клацая затвором винтовки, сгонял в телегу остатних, не сумевших по причине немощи уйти из обители монахов и вышагивал неторопливо, закинув «винтарь» на плечо, до ближнего леса, где бедняги навеки и упокоились.

Когда погнали на Север раскулаченный люд и Спасское стало пересылочной тюрьмой, Никаха уже сам похаживал в скрипучей блестящей коже и с наганом на боку, хозяйски поглядывал на обкорнанные, без крестов, главы собора, где за толстыми стенами страдали, томились и встречали свой последний час несчастные. Никаху подхалимы величали теперь Никанором Ивановичем или «товарищем Худяковым».

Тут и случилось происшествие: кто-то из охранных, видимо рассчитывая чем-либо поживиться, проник в маленькую церковку иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радосте» и пулей вылетел обратно:

— Там Богородица на иконе плачет кровавыми слезами!

— Заткнись, придурок! — Никаха грозно одёрнул трясущегося подчиненного и тут же приказал выкидать из церкви на двор все иконы.

Скоро на паперть набросали их порядочную грудю, Никаха, черкнув кресалом, подпалил её и даже спокойно прикурил от заплывавшего по древнему лику огонька: «Смотрите, ссыкуны, как надо!»

Пламя вмиг опряло всё: в жутком полыхающем костре корежились, обугливались, пропадали то суровые, то благостные святые лики. Кучка Никахиных приспешников, прикрываясь локтями, испуганно отпрянула от огня; из собора, где кто-то из узников сквозь узкое, как бойница, окно разглядел творившееся святотатство, донёсся горестным стоном многоголосый плач. Никаха, похаживая возле теплыни и подпывая головешки, вдруг хлопнул ладонью себя по шее, будто комара придавил — из взметнувшегося снопа искр одна, видать, ожгла его; он, оскалив зубы в недоброй ухмылке, засмеялся.

Что творилось в закопченной его душе — кто ведаёт?..

Странная эта ухмылка уродовала потом Никахину рожу чаще и чаще; стал он заговариваться, дальше — больше: родную избу пытался запалить. В конце тридцатых Спасское превратили в юдоль для умалишенных, и Никаха оказался в их числе.

Иван Никанорыч помнил, каким видел отца в начале войны, перед своей отправкой на фронт. В монастырском дворе санитар указал ему на кучку людей в одинаковой мешковатой одежде, слоняющихся бесцельно в загородке, обнесённой сеткой.

— Никаха!

Но никто не отозвался санитару, и тогда он, ражий детина, шагнув в загородку, выхватил оттуда невзрачного, стриженного под «ёжик» мужичка; цепляя за ворот, подвёл его к Ивану. Мужичонка с морщинистого лица по-рачьи пучил глаза, но как-то пусто глядел перед собой, будто ничего не видел, и то ли мычал, то ли просто шлёпал толстыми губами. Иван с некоторым даже трудом узнал в нём отца: как Никаху сюда посадили, сын не проводывал его. И так ровесники дразнили дураковым отродьем, а старухи плевались Ваньке вслед: «Иродово семя!» Отца ещё первое время спроваживали домой, но он неизменно вытворял что-нибудь «весёленькое» и теперь

в дурдоме прописался на постоянно. Он тоже не признал сынка:

— Ты из какой деревни? Где-то я тебя видал?

Никаха скрюченной ладошкой цапнул Ивана по щеке. Тот отпрянул, а отец захохотал.

— Я проститься пришел, на войну отправляют. — Иван, вжимая голову в плечи, отвёл глаза в сторону. «Мать заставила», — чуть не добавил, но прикусил язык: хоть дурак, а вдруг поймёт.

Никаха резко оборвал смешок, спросил ни к селу ни к городу про одного бывшего активиста — своего растоварища:

— В тюрьму забрали, — ответил Иван. — Враг народа.

Спросил про другого — того, по слухам, расстреляли.

— Вот видишь, а я здесь живой! — шепнул он быстро на ухо Ивану, упирая на слово «здесь», и кивнул на приоткрытые ворота: — А там бы мне каюк! Спасся я!

Иван изумлённо смотрел на отца: показалось, что рядом совершенно здоровый человек, прежний — взгляд осмысленный, испытующе-хитроватый, да и говорил отец без ужимок и подхихикивания. Но, кажется, тогда Ванюха все-таки ошибся: отец внезапно захохотал, да и ещё принялся часто креститься на обезглавленный им же собор:

— Спасся, спасся! Ха-ха-ха! — затараторил, будто считалочку.

Подошел верзила-санитар, мигнул: мол, прощайтесь, постоял немного и опять за ворот поташил приплясывающего Никаху в загородку.

Иван, уходя, оглядываться не стал: не думал, что видит отца в последний раз...

...Кавалерийскую часть, состоящую из новобранцев, бросили в прорыв; это был для Ивана первый и последний бой. Оружие: у одного взвода — шашки, у другого — просто палки, и так через раз. Батог Ванька выбирал поувесистей: испытаем, крепка ли у немчуры башка?!

Вместо пехотной цепи в поле навстречу разворачивающейся в атаку сотне из перелеска выскочила одинокая мотоциклетка, протрещала парой длинных очередей из пулемета и юркнула обратно.

Конная лава вытаптывала поле; Иван, раскучивая над головой палку, разевал в крике рот, когда из ложбины впереди выкатились стальные коробки. Топот копыт, крики кавалеристов стремительно сближались с деловым рокотом танковых движков, лязгом гусениц; отворачивать было поздно.

Иван успел заметить возле башни одной из коробок дымок — земля перед мордой коня вдруг взметнулась, чёрной тяжелой волной ударила Ивану в лицо. Ослепительный огонь, наврное, выжег глаза, грохота разрыва он, вырванный неведомой силищей из седла, уже не слышал...

Очнулся от звона в ушах, сел, потряхивая головой, и с испугом, с омерзением попытался отодвинуть своё враз занывшее всеми косточками тело от полураздавленной, забрызгавшей всё вокруг кровью лошадиной туши. Оперся об землю ладонью и тотчас отдёргнул её, словно обжёгся: чёткий след траков танковой гусеницы отпечатался всего в нескольких вершках... Что-то острое ткнулось в шею — Иван, повернув голову, сначала увидел сизую сталь широкого штыка и, подняв глаза, — немца, кивавшего: вставай, рус!

Со всего поля согнали малую кучку уцелевших бедолаг, повели и вскоре втокнули в длинную колонну военнопленных.

Иван в лагере с голодухи чуть не помер; больного, его едва не пристрелили, за попытку побега в расход только что не «расписали» — Бог уберёт, а потом и вовсе увезли куда-то через всю Германию.

Эх, на родной дом хоть бы одним глазком глянуть!

И когда однажды в фольварк, где Ванюха молот зерно на мельнице, вкатили танки с белыми звездами на броне и с солдатами-неграми, хозяин — толстый добродушный бауэр-мельник — предложил остаться: «Рус Иван, тебе дома капут, колхоз, Сибир!» Иван отрицательно помотал головой: теперь хоть ползком, но к дому. Как ползком и получилось, через пяток лет, через советский лагерь, куда отправился, едва попал к своим. И потом надолго клеймо...

Никаха сына не дождался. Говорили, что перед концом войны он из тихопомешанного сделался

буйным, никакими мерами не могли его утихомирить и засунули в палату-изолятор для таких же бесноватых, что размещалась в стенах Спасского собора. Там Никаха долго не наобретался, разбил башку об стену или помог ему кто...

Иван Никанорыч заходил в недавно открытую церковку иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радосте» всё чаще: поставить свечку, помянуть усопших, неумело и робко перекреститься. Выйдя потом на паперть перед храмом, где когда-то отец его палил крестёр из икон, он стоял и разглядывал щербатые стены Спасского собора и пенял отцу, будто живому: «Мало — сам взбесился и жизнь свою загубил, так и мне довелось кровавых соплей на кулак потереть вволюшку! За тебя в наказание!»

Всем за помин души свечи ставил, только не ему.

5

Лука ненадолго пережил свою мать. Оставшись один, он сунулся было обратно к приёмному отцу, но тот, крепкий ещё старикан, уже обзавёлся новой старушонкой. Приёмыша, которому когда-то, уступив уговорам жены, дал и отчество, и фамилию, безжалостно турнул. Так и не полюбил неродное, просто терпел годами блажь супружницы. Лука прежде отвечал тем же и с кулаками лез, но тут побитым кобелишкой покорно поплёлся в холодный нетопленный дом, где и завалился на кровать во всей своей грязной рабочей одежде.

Раньше, упившись, Лука всеми возможными способами передвижения, хоть по-пластунски, ползком, упорно норовил добраться до дому, где ждала его пусть и полоумная мама Зоя; теперь же, когда стремиться стало не к кому, недвижный Лука валялся где попало. Менты его не трогали — нечего взять, шпанята в карманах не шмонали — всё равно пусто, и добропорядочные граждане аккуратно обходили сторонкой — проспится и убредёт преспокойно в свою кочегарку. Летом к нему не прикасались, но, когда подмёрзло и закружились густым роем «белые мухи», Луку прохожие тормозили и старались направить к дому.

Однажды Иван Никанорыч едва не споткнулся об него, лежащего возле тропки и уже присыпанного снежком, прошел бы мимо, но — дух не дал! — вернулся, запотаптывался около, с нарочитым небрежением окликивая: «Эй, ты! Хозяйство отморозишь!» Лука не издал в ответ ни звука, пришлось его тормозить, а поскольку он лыка не вязал, лишь бессмысленно тарасил зенки, и тащить. Как нарочно, не подвернулось ни одного прохожего, кому бы можно было передоверить эту «почётную» миссию. А может, и лучше, что никто не видел.

Иван Никанорыч волок Луку и ругался: «Жизнь вот так прожить врагу не пожелаешь! Обморозишься же, дурак, будешь вдобавок и уродом, как братец твой Сашка-клешнятый, ни дна б ему ни покрывки! Околел, говорят, в тюрьге — туда ему и дорога!»

Лука был грубовато доставлен по месту назначения.

Потом, в лютые крещенские морозы, тоже «притрелеванный» в свое нетопленное жилище кем-то из сердобольных земляков, окочурился.

Опустевший дом до весенней капли пугающе угрюмо паялил на соседа бельма затянутых куржакон окон; на хату положили глаз шустрые горсоветовские клерки: наследников не осталось — приёмный отец Луки, не совладав с новой старушонкой, тоже преставился, наследство через положенный срок пойдёт в казну, и за сущие гроши — не упустит момента — можно дачку нехудую отхватить.

Но претендент неожиданно вытаял...

Иван Никанорыч из окна увидел, что в палисаднике соседнего дома бродит какой-то незнакомый сторбленный старик с обметанной редким белым пухом головой. Вот он споткнулся раз-другой обо что-то: видать, подслеповат, прижался лбом к углу дома, плечи мелко затряслись.

«Эко, вроде плачет!» — присвистнул удивлённо Иван Никанорыч и... перекрестился. Так-то стеснялся, даже самого себя, и в церкви, поставив свечку, крестился торопливо, украдкой, а тут поневоле пальцы сами сложились в шепоть. Незнакомец старик, вскинув руки, ровно оглаживая, провёл ими по венцам

сруба; рукава фуфаечки задрались, и Худяков вместо кистей увидел расщепленные страшные рачьи клешни.

Сашка!

Мало того, он, отерев рукавом мокрые глаза, заковылял через дорогу. Иван Никанорыч и спрятаться не успел, словно пристыл окаменело к стулику у окна; Сашка его, даром и подслеповатый, всё равно заметил.

— Дорогие мои соседушки, родственнички мои, Иван Никанорыч да Клавдия Ивановна! Слышал, что вы ещё живы-здоровы, откликнитесь! — Сашка говорил елейно, ласково, плаксиво морщил и без того сохшееся, с кулачок, жёлтое, как лимон, личико.

Худяков удивлялся теперь, что такой гад может вежливо и уважительно разговаривать. Потом вспомнил, что не слыхивал Сашкиной речи ещё с его юношеских лет и выражения там были — святых выноси, недаром уши затыкал, а впоследствии Сашка при встрече молча и горделиво воротил в сторону рыло.

Как было не выйти, приманенному таким обращением, из дому: замороженный Иван Никанорыч, медленно переставляя ноги, чувствовал себя сурком перед пастью змеюки.

Сосед новоявленный, размазав сопли, полез целоваться, попытался облапить своими клешнями, но Худяков брезгливо отстранился. Сашку это нисколько не смутило; предполагая, что в гости его вряд ли пригласят, он пристроился на лавочке у забора.

— Ох, ножки мои, ноженьки!.. — застонал он. — Сколь мне перенести пришлось! Век свободы не видать! Фраером буду, одним и дожил, домотал срок, что мечтал: помирать — так дома!.. Только живым-то в землю не запихаешься прежде времени. А дом-от козлы горсоветовские присвоить хотят, вон, и бумажкой с печатью дверь заляпали. Дом мой родной! У матери, видно, «крыша» совсем съехала, раз придурку этому, Луке, его подписала. Я сунулся сегодня в горсовет, а мне там заявляют: никакой он, мол, тебе не брат, родители, согласно документикам, у вас разные. В суд, говорят, подавай, коли свидетелей сыщешь, докажут если родство, то ладно. Но дело тухлое — да последняя моя надежда. Вот вы с бабой-то своей про всё в нашей родове ведаете... Кроме вас,

некому, — выступили бы в суде, замолвили словечко! Родня ведь, не чужие мы. А?! Неохота век свой в богадельне средь урок кончать, и так до печёнок казённый дом меня достал!

Сашка талдычил дальше и дальше — какой он разговорчивый, когда припёрло, оказался. Иван Никанорович, приходя в себя после неожиданной-негаданной встречи, ощутил, как застарелая, казалось порою уж и забытая боль ворохнулась в сердце, стала нестерпимо расpirать его.

Худяков встал с лавки и грубо прервал Сашкину воркотню:

— А хоть бы ты и сдох в казенном доме! Глядишь, не пригорбатился бы у нас воздух портить!

Сашка подавился на полуслове; Иван Никанорыч уже прикрывал за собой калитку, когда он разразился диким матом, наклонился и стал судорожно шарить в траве своими култыгами. Худяков усмехнулся: «Теперь ты такой, какой есть!» — и задвинул засов.

Сашка, видимо, всё-таки нашёл камень, но то ли булыжник из его «клевши» выскользнул, то ли не решился им по воротам запустить, — только взвыл, запричитал слёзно:

— Иван Никанорыч, дорогой, прости меня, дурака! Не дай погибнуть! Не подсобишь если, руки на себя наложу! Прости!

Он даже ослаб в коленках, упал в грязь на дороге — видел подошедший опять к окну Худяков — и так, ползком, обессилев, убрался в свой двор и там затих где-то.

Иван Никанорыч всю ночь не мог уснуть, повалившись с боку на бок, вставал, курил на крыльце, глазел на звёзды. «Как земля такую пакость на себе носит?! — вздыхал и сокрушался он. — И вроде бы бьёт и мает её, эту пакость, по жизни и мучит, но истребить вовсе не может. Почему так?.. Но мне ли, человеку, судить?..»

Чуть свет Иван Никанорыч убрёл в монастырь. Возле церкви иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радосте» всякий хлам, груды битого кирпича, мусор убрали — Худяков сюда приноровился ходить подсоблять трудникам, теперь не только по воскресеньям забегал в храм свечку поставить. Взялись и вокруг облупленной, с карминно-красными пятнами выветренного кирпича громадины Спасского собора чистоту и порядок наводить.

В ранний час даже сторож дрых, его собака затыкала, но, узнав частого посетителя, дружелюбно завилела хвостом. Иван Никанорыч, взяв из потайного места лом, принялся яростно долбить кирпичный завал прямо перед вратами храма: хотелось забыться, утишить все взбаламученное в душе внезапным вторжением в устоявшуюся тихую жизнь давно похороненного Сашки. И, может, преодолеть растерянность. Ведь когда тот, стоя на коленках, умолял заплотшно, плакал, всё-таки что-то дрогнуло в Худякове, хоть он сейчас и не старался вспоминать об этом.

Скоро он устал, взмок, вдаривая железным «карандашиком», пусть и оведало утренней прохладой. Огляделся, куда бы примоститься, и, увидев приоткрытые, обитые листами заржавленного железа врата храма, решился туда зайти. Сколько уж тут мимо ни ходил в церковь, ни работал рядом, а заглянуть внутрь собора, где отец-безбожник в припадке сумасшествия разбил об стену свою непутёвую голову, страшился.

В храме с забытыми досками окнами было сумрачно, шаги гулко отдавались под высокими сводами, как ни старался Иван Никанорыч тише, осторожнее ступать по каменному полу. Весь собор внутри был наглухо, плотно заштукатурен, стены по низу вымазаны краской и пестрели всякими скабрёзными, выцарапанными недоумками надписями.

Худяков поморщился, взглянул вверх, туда, где ближе к куполу в верхний ярус незаколотенных окон лились лучи восходящего солнца, и обомлел: из-под свода смотрели на него пристально пронизательные, бездонной глубины глаза Спаса Всемилового. Видно, недавно толстый пласт штукатурки обвалился, явив фреску; осколки его хрустели на полу под ногами попятившегося и торопливо крестящегося Ивана Никанорыча.

— Вот оно, вот оно... — бормотал Худяков. — Кто наказует — тот и милует...

Под вечер, подходя к дому, он обстоятельно обшарил взглядом Сашкино подворье: уж не вздернулся ли где, сердечный, как обещал. Не высмотрев ничего худого, Иван Никанорыч вздохнул: ладно, подтверждаю родство Сашки с Лукой, будь что будет. Бог ему судья.



От Вальки хулиганы отхлынули так же разом и скопом, как и налетели. Харкая кровью, Сатюков долго ещё корячился на четвереньках под кустами; у него хватило силёнок выползти на смежную со сквером глухую улочку. Здесь кто-то и споткнулся о парня, лежавшего враспяжку поперёк тропинки.

– Юнец, а напился в стельку. Молодёжь!

– Погоди, не бухти понапрасну! Ишь, как его извозили!

Вальку подняли и усадили на задницу два мужика, в темноте не разглядеть чьи, да и голоса их до Валькиного слуха доносились будто сквозь вату – по ушам, что ли, гады-обидчики повешали. Сатюков не дергался, когда его куда-то повели под руки: главное – свои, родные, русские, он уж слезу готов был пустить. Очутившись в избе, заваленной едва не до потолка железным заржавленным хламом, при тусклом свете лампочки Валька узнал одного из своих спасителей – Сашку Дорофеева по прозвищу Бешен. А другой, приволокший таз с холоденкой, – Ваня Дурило, юродивый! Вот так компания – два известных в городке дурака!

Сашка окончил в городке школу с золотой медалью, потом – один за другим два института, осел в Питере важной шишкой в каком-то конструкторском бюро, но вышла загвоздка: загуляла красавица жена. Кончилось разводом, квартиру сразу разменять не удалось. Бывшая супружница без зазрения совести приводила любовника, спала с ним. А Сашка сгорал от ревности за тоненькой стенкой в соседней комнате. Жену-то он любил! И у него тогда, ночь за ночью, потихонечку съехала крыша. Так болтали в городке,

когда Дорофеев со «справкой» возвратился к старушке матери и, потыкавшись туда-сюда, притулился разнорабочим в конторе по благоустройству. Он исправно махал метлой, подметая тротуары, лазил с ножовкой по деревьям в парке, отпиливая сучья, высаживал на клумбах цветочки и даже в подручные к главному городскому ассенизатору Федору Клюхе иногда попадал.

Всё, что его ни заставляли, Сашка выполнял безропотно, только порою на него находило: выкатив испещрённые красными прожилками белки глаз, он начинал торопливо лопотать что-то непонятное и загадочное для порядком струхнувшего невольного слушателя, которому вцеплялся в рукав. Гражданин убежал, Сашка нёсся следом. Огненно-рыжий, с обросшим густой щетиной лицом, в потрёпанной – одной и для гулянки, и для работы – одежке, мчался он, едва не бороздя землю длинным носом, и не приведи Господь, если наткнулся опять на кого. Тот несчастный, даже и не робкого десятка, только что не напускал в штаны, столкнувшись с его отрешённым, диким взглядом. Бешен, да и только!

Теперь вот Валька – ни жив ни мертв – сидел на табуретке, приваленный спиной к стене в дому Бешена, и сам хозяин пристально разглядывал его, комкая в руках белую тряпицу. Мужики принялись врачевать ссадины на Валькином лице – всё ж потом поменьше мамкиных ахов и охов будет.

– Бьют-то слабо, не по-русски, – проворчал Ваня Дурило, оставляя в покое хнычущего Вальку и раздирая пятерней на груди густую шерсть, где запутался, поблескивая, большой медный крест.

Со своим «спасителем» Сашкой Бешеном Валька встретился вскоре опять. Бежал мимо дорофеевского дома и – глядь! – Ваня Дурило на крыльце стоит, и не просто на настиле или на ступеньках, а залез на столбик, к которому когда-то крепились перильца, и, выстаивая на одной ноге, размахивая руками, кричит залиvisto петухом. Разевшего рот Вальку едва не сшиб с ног выскочивший из ворот рассерженный участковый.

— С дураков какой спрос! — пробурчал он, окинув парня неприязненным и в то же время смущённым взглядом.

А с крыльца неслось:

— Ки-ка-ре-ку! Ура, дурдом! Кругом дурдом! Вся жизнь — дурдом! Ки-ка-ре-ку!

Выглянул из-за калитки Бешен, заметив Сатюкова, поманил его пальцем. Валька, сторожко косясь на по-прежнему торчащего на одной ноге на столбике оборванца, поднялся вслед за Сашкой по скрипучим ступенькам крыльца. В горнице на непокрытом столе стояла кой-какая посуда, была разложена немудреная закуска. На табуретке сидел зачуханный, смердящий старикашка Ваня Свисточек и, вздергивая по-птичьи головёнкой с реденькими белыми волосиками, поглядывал на вошедших невинными, на удивление чистыми глазами. Позади Вальки и хозяина с криком захлопнул дверь соскочивший со своего наместа придурочный Ваня.

Сатюков, присев на краешек лавки, чувствовал себя неуютно и неловко. Свисточек, всё так же пялясь на него невинной выцветшей лазурью глаз, натренированным до автоматизма движением выкинул перед собой ладошку и, расщеперив корявые грязные пальцы, затряс ею перед Валькиным носом: «Гони копеечку!» Валька и тут чуть было не полез в карман за мелочью, как тогда, ещё до армии, в Ильин день — храмов праздник, когда пошли с Серёжкой поглазеть на крестный ход.

Опасно: в школе как бы не влетело, но зато спокойно — среди бела дня, не в пасхальную ночь, когда через ментовское оцепление прорываться надо. Проникнуть внутрь храма братаны не решились, остались дожидаться действия, поджимаясь к кирпичам церковной ограды. От скучающих на паперти нищих отделился босой, заросший свалывшимся волосом мужик, сильно прихрамывая, приблизился к ребятам и, закатив дурашливо глаза, двумя сложенными пальцами принялся молотить себя по губам.

— Дядя, да-дай ку-ку...

Ваньку Дурило ребята знали — известная в городке личность, но, уstraшенные его идиотским видом, отошли от дурака на всякий случай подальше и в узком проёме калит-

ки столкнулись с другим убогим, — вернее, чуть не затоптали его, сидящего меж положенных поперёк дорожки костылей. Белобрысенький, он завохтал, захрюкал потревоженно, а когда протянутую ладошку ему не позолотили, сердито засопел, вытолкнул сквозь зубы довольно внятно крепкое словцо. Взахлёб ударил колокол. Из церковных врат потекла толпа богомольцев, качнулись, заблестали над нею крест, хоругви.

Парни повисли на ограде, цепляясь руками за железные пики её наверхия. Крестный ход с пением двинулся вокруг храма, и Валька с Серёжкой намерились перебежать на другую сторону, чтобы поглазеть, как богомольцы будут возвращаться. И столкнулись за угловой башенкой ограды опять с убогими. Те поначалу ребят не заметили.

— Скупой народ пошёл! — сетовал Дурило белобрысенькому вполне нормальным голосом. — Закурить даже никто не дал.

— Угошайся! — белобрысый, подойдя к нему от прислоненных аккуратно к ограде костылей, протянул пачку сигарет. Закурили.

— Как нынче посбиралось-то?

Белобрысый молча хлопнул ладонью по оттопыренному карману; глаза убогого светились радостно и довольно.

— Есть в тебе чтой-то от настоящего дурака, вот и подают хорошо, — позавидовал Ваня. — А мне мало, как ни стараюсь. Хоть и Дурилом прозвали.

— Так ты дурило и есть.

Тут нищие заметили подглядывающих за ними парней.

— Че вылупились-то? Хи-хи! — Ваня вдруг закатил глаза и, расставив широко руки, будто собрался ловить, пошёл, приплясывая, на стухнувших ребят.

Белобрысый, достав милицейский свисток, залился трелью, захохотал и, подхватив костыли, заподпрыгивал на них прочь.

И вот не думал, не гадал Валька, что придётся ему сидеть в гостях у Сашки Бешена между двумя столь досточтимыми людьми. До первой стопочки и кашлянуть побаивался. Выпил — осмелел. У убогих в башках скоро «зашая-

ло»: что-то быстро-быстро, но непонятно залопотал сам с собою Веня Свисточек, а Дурило заблажил. Заорал про «золотые» горы.

– Я философ, – резко оборвав завывания, заявил он, – Божеских наук. Втолковываю темным людишкам у церкви что да как, лишь бы деньгу давали. Хоть и четыре класса у меня, – расхвастался вконец.

– Веня, ты у нас тогда профессор с одним-то классом! – весело крикнул Бешен.

– Читать умею, – подтвердил Свисточек и опрокинул стакашек.

– Выходит, я академик, с двумя-то высшими!

Проскрипела незапертая дверь, и вошла маленькая, закутанная в чёрный платок старушка; блеснули стёклышки очков на носу.

– Опять пируете? – перекрестившись на киот с иконами в переднем углу, строго спросила она. – Санко, сколько же тебе говорить, чтоб не путался с этими шаромыжниками! Ты человек учёной! Да и вы-то чё пристали к мужику? Эко, ровно поросята, в Троицы-то день!

Веня в ответ зычно икнул, невинные глазки его замутились, и он кулем рухнул под стол. Ваня закудахтал было, но старушка оборвала его:

– Полно, дураково поле!.. Выпроводил бы ты их, Санушко, пока мамкино добро с ними не спустил!

– Не могу, Анна Семеновна! Они мои братья во Христе!

Старушка вздохнула, дескать, что с тебя, простяги, взять, и тут же ойкнула, приложив ладошку к губам:

– Забыла... Василия Ефимовича проведывал? Нет? Эх, ты...

– Сейчас же, немедленно! – засобирился Сашка. – Кто ещё со мной?

Дурило сонно зевнул и со стуком уронил голову на стол.

– Запрём их. Пусть дрыхнут...

На улице смеркалось. Двухэтажный тёмный дом с чуть заметными бликами света из-под занавеси в окне верхнего этажа оказался Вальке по пути. Сатюков побрёл бы и дальше своей дорогой, но Бешен придержал его:

– Зайдём!

– Расскажешь потом, Санко, как он там! – старушка попрощалась и ушла.

Сашка стучался долго; наконец где-то вверху скрипнула дверь, дребезжащий старческий голос спросил: «Кто там?» Бешен назвался. Зашлёпали по лестнице шаги, при свете керосиновой лампы открывший дверь старик выглядел пугающе: трясущаяся плешивая голова, на усохшем личике густели тени. Сашка помог хозяину, поддерживая под локоть, подняться обратно в лестницу, и в светлой уютной комнатке Валька по-настоящему разглядел его. Сатюков думал, что давным-давно старикан этот помер. Ведь Валька ещё совсем сопливым пацаном был, когда на городковской танцплощадке, не оснащенной ещё ни гитарным бряком, ни заполошным барабанным воем, ни вытьём и ором местных дарований, в субботние и воскресные вечера простецкая советская радиола исправно раскручивала свой диск – и любую пластиночку ставили на утеху публике.

А что за публика собиралась! В меньшинстве – на площадке, в большинстве – около. За высоким, обтянутым металлической сеткой барьером, будто в скотском загоне, на дощатом помосте в одном углу толклись парнишки-малолетки, в другом – их ровесницы. Было рановато, и радиолу в крашеной будке запускали время от времени. Мальчишки и девчонки суетливо дёргались, толкая локтями друг дружку. Молодежь повзрослей, посолидней подходила в сумерки. Тут и репродуктор, подвешенный на дереве, верещал не умолкая, и пол ходил ходуном под ногами резвящихся, грозясь обломиться. Стволы столетних лип с корою, изрезанной ножичками и прочей колющей штуквиной, обступавших танцплощадку, подпирали могучими плечами подвыпившие застарелые холостяки; меж ними, яростно отбиваясь от комарья, выглядывали своих чадушек, скачущих за барьером, мамыши. У их подолов путался зелёный ребячий подрост, нороя в удобный момент перешмыгнуть через сетку. В потёмках в глубине парка вспыхивали потасовки, кто-то кого-то с улюлюканьем гонял, кто-то ревел ушибленным телком. Люд же, самый разношёрстный,

прибывал и прибывал, облепляя барьер танцплощадки, словно осы гнездо.

После современной лёгкой музыки из раскалённого колпака репродуктора плавноплыли звуки старинного вальса. Распаренная толпа уморившихся танцоров, отпыхиваясь, сваливала к лавочкам посидеть, если хватало места, а в освободившийся круг неторопливо входил невысокий плотный старичок. Полувоенный френч ловко обтягивал его сутуловатую фигуру, на ногах поблескивали скрипучие хромачи. Аккуратный пробор седых волос, подкрученные вверх усы. Старик выбирал «даму», слегка склоняясь к ней, приглашал на танец. Девка млела, не смея отказать, и осрамиться побаивалась, но наконец соглашалась. Кавалер легко вёл её, чуть откинув назад красивую голову, лихо кружил, и самая неумелая деваха входила с ним в раж, забывала про свои «ходули» — на удивление, ступали они как надо, и вертелось, плыло всё у девчонки перед глазами — хорошо-то как! Старик, словно двадцатилетний, падал на одно колено и стремительно, под восхищенное аханье зевак, обводил даму вокруг себя. Набегали другие пары, в основном девчонки, суматошно кружились кто как умел, а над парком затихали последние аккорды «Дунайских волн».

Нет, старичок Зерцалов был теперь не такой шустрый и бойкий. С бескровным лицом, с коричневыми пятнами на лбу и на щеках, с заплывающими в мутной мокроте беспомощно глядевшими глазами, но по-прежнему в наброшенном на плечи френче, он шаркал в тапках по горнице. При слабом свете настольной лампы в простенках между окнами, прикрытыми шторами, виднелись какие-то картины в массивных, украшенных резьбой рамах, передний угол занимал огромный рояль; с другой стороны во всю стену чернел громоздкий буфет с затейливыми фигурками и узорами. Старик прошлепал к письменному столику с чернильным прибором, в который были вмонтированы остановившиеся часы с трубящими в рога статуэтками охотников, сел на стул с высокой, из витых деревянных прутьев спинкой. В горнице-музее Зерцалов сам был наподобие экспоната, разве что живого.

— С Троицей вас, Василий Ефимович! — громко проговорил, чуть ли не прокричал Сашка и вперился куда-то в угол. — Вот незадача! Лампадка-то не горит!

Он вскочил на стул, чиркнул спичкой и запалил огонёк, осветивший святой лик на иконе. Валька грешным делом подумал, что хозяин сейчас заругается: мало кому понравилось бы чужое самоуправство, вдобавок с прыжками и скачками, но Зерцалов, подшлёпав к Бешену и взяв его за руку, поблагодарил:

— Спаси Бог... Сижу, ровно нехристь.

Сашка, перекрестившись, вдруг запел сильным чистым голосом:

*— Благословен еси Христе Боже наш,
Иже премудрые ловцы явлей,
Ниспослав им Духа Святаго,
И теми уловлей вселенную,
Человеколюбче, слава Тебе!*

Старик, тоже глядя на икону, подтянул хрипло, еле слышно тропарь.

Прощаясь, он слабо пожимал гостям руки.

— Александр, пока лето, отвезите меня в Лопотово, в монастырь... Покорнейше прошу! Перед смертью побывать бы там ещё разок!

— Сделаем, сделаем! — кивал Сашка.

Уходили, оглядываясь. Фигурка старика с керосиновой лампой в руке долго ещё, провожая, жалась в дверях на крыльце.

Сашка Бешен и Валька слово сдержали: раздобыли лошадь с тележкой, посадили старика на охапку сена и отправились к развалинам монастыря. Тронулись в путь не рано, солнце стояло уже высоко, парило, как перед ливнем. По дороге, развороченной весной колесами и гусеницами тракторов и теперь высохшей, с выворотнями земли, колдобинами, ямами, кобыла, боясь обломать ноги, вышагивала неторопко, но телегу всё равно подбрасывало и трясло почём зря.

Зерцалов, вцепившись бескровными иссохшими пальцами в грядку телеги, как выехали, не проронил ни слова: порою казалось, что старик, полулежа на сене, спит с открытыми, подёрнутыми мутной мокротой глазами.

Побеспокоил, разбудил его тяжёлый дурной запах, который временами приносил ветерок, особенно когда повозка выскакивала из перелесков, обступающих дорогу, на ровное открытое место. На речном берегу уже стало не продохнуть. Вода в реке текла чёрная, с белыми пузырящимися барашками ядовитой пены на поверхности. Ни зелёного листочка водоросли, ни резвящегося рыбного малька; вдоль обоих берегов тянулась жёлтая мёртвая канва. Лошадь зафыркала, уперлась, не пошла вброд. Сашка соскочил с телеги, ухватил кобылу под уздцы и, уговаривая, кое-как затянул в реку. Перевёл, сам бултыхаясь по пояс. За речным изгибом вроде все так же приветливо и весело зеленел монастырский холм с развалинами церкви. Старик попросил остановиться, слез с телеги. Придерживаясь за неё, побрёл рядом, торопливо и жадно озирая окрестность.

Когда взобрались на холм к остаткам крепостной стены, нескрываемая, почти ребячья радость с лица старика исчезла; он был растерян, похоже, узнавая и не узнавая место. Вместо домов соседней деревеньки грудями головешек чернело пепелище, валялся битый кирпич, распяливали обугленные сучья дерева, начиналась испаханная тракторными гусеницами и полозьями саней полоса с вмятыми в землю, ещё кое-где зеленеющими искореженными яблоньками и, извиваясь, тянулась к вырубленному бору. У оставшихся у самой воды вековых елей желтела, осыпаясь, хвоя: весенний паводок погубил их.

Старик не смог преодолеть рытвину, споткнулся и боком упал на груды вывернутой глины. Бешен и Валька бросились ему на помощь, но он остановил их слабым жестом руки и ладонью прикрыл глаза.

— Сад у него тут был, — вполголоса забормotal на ухо Вальке Сашка. — Прежний, монастырский-то, в войну вымерз, пока старик, бывший офицер, как «враг народа», в лагере сидел. Так он новый посадил, и — смотри! — что гады вытворили, объехать поленились. А домик у деда ещё раньше какие-то идиоты разорили, сам я потом окна досками заколачивал. И уехал-то он всего на ночь: косари в баньке мыться собрались, да загуляли, в горо-

док их понесло, и Василия Ефимовича с собой сманили... Он всё домишко отремонтировать хотел, да слёг, больше сюда и не бывал. Я сам не рад, что его привёз. Знал, что реку стоками с бумажного комбината отравили. Что ж творится здесь, Господи!..

Сашка не переставая бубнил на ухо Вальке и ещё, а старик, отняв от глаз мокрую ладонь, пытался всмотреться в расплывчатые очертания изувеченного, наполовину вырубленного ельника. Где-то там покоились косточки невинно расстрелянных в лихую пору монахов, и на том месте кто-то без тоски и горя валил деревья, потом трелевал их к дороге, уничтожая попутно сад. А ведь даже в войну люди бора не тронули...

Надо туда добраться, но подняться не было сил.

— Живого бы его довести обратно! — озабоченно сказал Бешен.

...Старик Зерцалов умер в городском саду на другой же вечер после поездки в Лопотово. Громыхала музыка на танцплощадке, орали что-то «импортное» местные дарования, так же замороженно лепился к барьеру разношерстный народишко, а старик, стоя в потемках у вековой липы, вдруг схватился рукою за сердце и медленно сполз по шершавой коре дерева. Пока не рассвело, и не подошел никто: думали, лежит какой пьяный, так и пусть себе валяется.

Обо всем этом рассказывал Сатюкову расстроенный, чуть не плачущий Бешен.

— Пойдем в церковь, помолимся за упокой души! — предложил Сашка.

Валька покорно поплёлся за ним. В храме за службой стояло немного народу, без толкотни и тесноты, как в праздничный день. Бешен подвёл Вальку к большой старинной иконе.

— Преподобный Григорий! — пояснил шёпотом. — Покойный Василий Ефимович его наравне со своим ангелом-хранителем почитал. Затепли-ка свечечку!

Валька ожёг неосторожным движением пальцы об огонёк, охнул и, взглядевшись в потемневший от времени лик на иконе, отпрянул — глаза старца в черном смотрели строго и осуждающе. Сатюков, боясь ещё взглянуть,

попытался разобрать клейма-картинки вдоль бортика иконы: монах, водружающий крест на речном берегу, тот же чернец возле церковки, а вот какие-то воины с обнажёнными мечами окружили его, стоящего с воздетыми руками... Жаль, не все можно было разобрать.

Валька в смущении отошёл, стараясь ступать неслышно, с беспокойством искал Бешена. Сашка возле царских врат напротив иконы Богородицы стоял на коленях и клал земные поклоны. Служба, должно быть, подошла к концу: вышел с крестом батюшка, благословил всех, и Сашка первым приложился к кресту. У выхода из церкви Бешена обступили старушки, даже Вальку, попытавшегося протиснуться к нему, оттёрли.

— Помолись за нас, грешных! — Сашке соваляли и пирожок, и пряничек, и денежку, но Бешен отказывался от даров.

— Дурак! Дают — бери, бьют — беги! — снизу, с паперти, заворчал раздражённо Ваня Дурило.

Напротив него сидел, задрав белёсую бородёнку и раскачивая растопыренной пятерней, Свисточек. День, видать, у убогих выдался некормный.

— Приходи, слышишь, сюда! Особенно когда худо будет, — бормотал по дороге домой Сашка. — У Григория преподобного постойшь, в беде не оставит...

Бешена Валька видел тогда в последний раз. За зиму как-то встречаться больше не приходилось, а весной, в ледоход, услышал: погиб Сашка. От церкви брели они с Дурилом и Свисточком и, как обычно, срезая путь, полезли через речку, не по мосту. Бешен шел первым; напарники его, прикуривая, задержались на берегу. Сашка ухнул в промоину, проорал, и, пока Ваня с Веней бестолково бегали по берегу, течение, быстрое в этом месте, утянуло Бешена под лёд. Но ходила упорно в городке и другая версия: убогие сами спихнули Сашку в полынью и потом преспокойно ждали, пока он, орущий, уйдёт на дно. Дескать, завидовали тебе мы, а теперь ты нам позавидуй...

Николай Александрович ТОЛСТИКОВ

родился в 1958 году в г. Кадникове Вологодской области.

Окончил Литературный институт им. А.М.Горького и Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Священник храма святителя Николая во Владычной слободе Вологды.

Публиковался в российских и зарубежных периодических изданиях, сборниках.

Автор книг «Пожинатели плодов», «Без креста», «Лазарева суббота», «Приходские повести».

Награжден медалью Василия Шукшина, учрежденной Союзом писателей России, и др.

Член Союза писателей России.

